

Жизнь проступала строчками на стенах

К истории великого скандала

Общая газета. 1998. - 29 окт. -
- 4 кол.б. - с. 10

Анатолий
НАЙМАН

НОБЕЛЕВСКАЯ премия по литературе 1958 года была присуждена Борису Пастернаку за роман «Доктор Живаго». Немедленно, с тем же размахом и теми же приемами, какими нынешние коммунисты организуют протест против президента, рынка, телевидения и вообще всего, чем человеческая жизнь не подходит под их уровень, тогдашние правившие страной на свое усмотрение и безраздельно запустили механизм травли. Не было ни одной газеты, которая не лила бы на Пастернака помой, в унисон улюлюкало радио. Шестьдесят восемь не тот возраст, чтобы становиться героем мирового скандала: вселенский навал, скажем осторожно, сократил срок его жизни до полутора лет. Объявленной причиной была «антисоветскость» романа, глубинной – природная несовместимость власти и поэта. Ибо поэт – существо самовластное, он может быть послушен общепринятым законам, но в действительности подчиняется единственному диктату – звука, ритма, словаря. Мне уже приходилось писать об этом в романе «Поэзия и неправда».

Талант Пастернака оказался с самого начала одной из удач советской власти: природа этого таланта в сочетании с величиной. Власть декларировала, что жить при ней – счастье; Пастернак родился певцом счастья. Мир для него был ни чужим, ни, тем более, враждебным. Мир радовал его, как Адама до грехопадения. Подобно праотцу, он давал вещам имена, многословно называл их и, называя, захлебывался, и делал это для самого себя и для развлечения своей любимой. В нем Адам добирал то, чем не успел восхититься в только что сотворенном мире. Для Пастернака счастье – норма, чуть ли не обыкновение: «Грудь под поцелуи, как под рукомошник!» Его счастье – всеми узнаваемое, всеми разделяемое, доступное: каморка со спичечный коробок, стул, пыльная книжная полка, фотография взлобленной на столе, освежающий дождь, освеженный куст. Счастье чуть-чуть более избыточное по сравнению с другими, но это только прибавляет симпатии «других».

Революция и Влюбленность не просто совпали у Пастернака по времени. Отныне для него одной не было без другой. Говоря его словами, «свежесть, естественность, случайность и счастье»

стремительно сделали его любимцем читающей публики, «принесли ему имя». Параллельно он приобрел имя у власти. Власть инстинктом знала, что Пастернак действительно поэт; не вреден; хорош оттого, что искренне счастлив во время, объявленное ею счастливым. И еще, и самое главное. Он вызывал если не доверие, то расположение тем, что был направлен мимо центра, мимо того, что являлось центром для них. Лоялен или не лоялен Пастернак – об этом было как-то неловко думать. Революционной он почему-то называл копну сена в сухой степи. Слово было их, но он явно употреблял его в каком-то домашнем смысле. По разнарядке «снеговой повинности» его посылали разгребать заносы на железной дороге – он уверял, что «на свете нет тоски такой, которой снег бы не вылечивал». Власть всегда хочется большего, ее дело – напирать, иначе в чем ее сила? Она требовала от Пастернака «отклика на общественные темы», но скорее для проформы – для пользы дела он был ей нужен ровно таким, каким был: счастливым и занимающимся исключительно поэзией.

Но чем дальше, тем больше Пастернак занимался не только поэзией, но и историей и в таком виде власть не устраивал. Ко времени нобелевской истории нашему поколению было вокруг двадцати, и совершенно еще безвестный Бродский уже совершил яркий гражданский поступок. Разогнавшись на велосипеде, он швырнул в открытое окно Союза писателей, где шло заседание секретариата, презерватив, наполненный сметаной. Пораженные разорвавшейся бомбой секретари звонили в КГБ, их успокоили, сказав, что это, скорее всего, хулиганство, а не политическая акция, но что случившееся взято на заметку. В ноябре 58-го года на закрытом собрании партбюро писатели выслушали доклад полковника КГБ про деятельность не раскрытой пока организации, направленную против советской литературы. Милицейский автомобиль, патрулировавший ночью набережную Невы, высветил на ее граните, прямо против ворот Летнего сада, надпись «Да здравствует Пастернак!». За десять минут до того, во время предыдущего рейса, надпись не было. Прибывший к месту происшествия спецнаряд обнаружил, что краска еще не засохла. Это наводило на мысль, что агентура западных разведок была достаточно а) молодая, чтобы за десять минут нашкодить и убежать, и б) многочисленная, чтобы даже в случае

молодости и резвости, разделив надпись на части и малюя одновременно, уложиться в максимально короткий срок.

Полковник сказал, что, по мнению специалистов, в провокации принимали участие от трех до четырех человек. И, дав папке, по которой читал, эффектно упав из его рук на сукно стола, вспомнил о «заряде сметаны, выпущенном неизвестными лицами по зданию Союза с помощью противозачаточного средства». Партбюро всколыхнулось. «Тот же почерк! – воскликнул в волнении член бюро, писатель для юношества. – Один почерк, я их как вижу!» – «Почерк разный, – отозвался полковник, отеческой улыбкой снисходя к горячности писателя, – даже антисоветский лозунг выполнен разными почерками».

Боевиков из контрреволюционной организации «Да здравствует Пастернак!» и правда было от трех до четырех, а именно трое: музыкант Цветков и поэты Виноградов, Еремин. Печатный и радионакат на Пастернака за то, что он написал «Живаго», а «Живаго» получил Нобелевскую премию, наблюдать в бездействии было невыносимо. В ранних ренессансных изображениях охоты на зверя всегда жалко зверя – леопарда, кабана, одиночку, обвешанного собачьей стаей, но особенно если зверь – единорог, смиренно глядящий на рвущие его пасти. Мы не вглядывались в особой стаи, и имена писателей, вышедших на расправу, звучали для нас как нарицательные Полкан, Барбос и Жучка, независимо от того, охотно или из-под палки оскалили они зубы. Когда пишут детские стихи про крошек-сороконожек и Тамару-санитарку и развозят туры на колесах благородства, чувствуешь, что подло, но пойдти докажи. А когда – «Нет пощады лакею империализма!», – все становится на свои места. Нам хотелось это услышать. Нам не хотелось, чтобы Пастернак каялся, чтобы «старался восстановить подорванное доверие товарищей». Нам не хотелось – однако прочитаны были эти его письма в «Правду» – как «тихий хрип, как хрип: «Испить, сестрица».

Вольт «Да здравствует Пастернак!», тянувший на несколько лет отсидки для участников, имел естественное побуждение: открыть форточку в помещении, где ораторы внушают толпе, что спертый воздух, которым они дышат, свежее уличного. То, что скученной толпой был весь народ, а стража обесценивала задраенность окон и дверей,



Борис Пастернак. 1958

столь же естественно прибавляло желанию жара. Конечно, «Да здравствует Пастернак!» звучало по-советски, но ведь к советским это и обращалось. Вдобавок, уважая и любя Пастернака, мы уважали и любили само искусство, так несомненно в нем олицетворенное. «Пастернак – глава рода!» – агрессивно произносил Виноградов. Глава рода и должен здравствовать, а то, что формула пожелания распространялась на фальшивые объекты, делало ее применительно к нему живой и свежей.

Слух, что кто-то вывел эти слова, ходил по Ленинграду еще до секретных откровений полковника. Говорили, что люди видели написанное на стене Петропавловской крепости, на брусчатке Дворцовой площади, на колоннаде – по букве на колонне – Исаакиевского собора. О том, кто и где это действительно проделал, мы узнали от исполнителей. Но легенда о множественности протеста продолжала гулять, и, когда кто-нибудь из нас давал понять, что знает истинную историю, ему возражали: ну и что, что у Летнего сада? Да, у Летнего сада, но также на Петропавловке, на Дворцовой и на Исаакии. Говорили, что по утрам, когда камни обметывает ночным инеем, стертые кагешбешниками буквы проступают довольно отчетливо. Режиму шел пятый десяток, он замазывал все щели – и клей для замазки варил крепчайший: из костей и крови. И закупоренной жизни ничего не оставалось, кроме как проступать на стенах, возникать на невской набережной призраками с малярной кистью в руке, проноситься велосипедистом с выменем несвежей сметаны. Власть изображала из себя огнедышащее чудовище, чтобы доказать свою всеисильность; свобода – цуглившую птицу, чтобы свою всеисильность скрыть. Откуда-то – а убедительнее всего из-за ролей, которые та и другая разыгрывали, – зрители прекрасно знали, что власть не всеисильна, а всеисильна как раз свобода.